

ОЛДОС ХАКСЛИ

ВРЕМЯ ДОЛЖНО ОСТАНОВИТЬСЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44
Х16

Серия «Эксклюзивная классика»

Aldous Huxley

TIME MUST HAVE A STOP

Перевод с английского *И. Моничева*

Серийное оформление *Е. Фerez*

Компьютерный дизайн *А. Чаругиной*

Печатается с разрешения

Aldous and Laura Huxley Literary Trust,
наследников автора и литературных агентств
Georges Borchardt, Inc. и Andrew Nurnberg.

Хаксли, Олдос.

Х16 Время должно остановиться : [роман] / Олдос Хаксли ; [пер. с англ. И. Моничева]. — Москва : Издательство АСТ, 2021. — 448 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-105472-4

История семнадцатилетнего Себастьяна Барнака и троих людей, перевернувших его жизнь. Дядюшка Юстас, гедонист и бонвиван, научит юношу со вкусом наслаждаться земными радостями. Красивая и загадочная зрелая женщина Вероника Твейл станет его первой любовью. А другому дядюшке, мистичу и искателю высшей истины Бруно, предстоит открыть Себастьяну, что в мире есть вещи куда важнее повседневной реальности...

Каждый из этих героев несет свою идею и высказывает немало горьких и справедливых истин об устройстве человеческой души, общества и даже Вселенной.

Сам Хаксли считал, что в этом романе ему удалось наиболее глубоко исследовать проблемы, встающие перед человеком XX века.

Впервые на русском языке!

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-105472-4

© Aldous Huxley, 1944
© Перевод. И. Моничев, 2017
© Издание на русском языке
AST Publishers, 2021

Но мысль — рабыня жизни, жизнь — забава
Для времени, а время — мира страж —
Должно найти когда-нибудь конец.

*У. Шекспир. Король Генрих IV**

I

Себастьян Барнак вышел из читального зала публичной библиотеки и задержался в вестибюле, чтобы надеть свое поношенное пальто. Глядя на него, миссис Окэм почувствовала, как ее сердце пронзила сталь меча. Это маленькое, утонченное создание с ангельским личиком и светлыми выющимися волосами было живым воплощением ее собственного, ее единственного, ее ушедшего милого сыночка.

Она заметила, что губы мальчика шевелились, пока он влезал в рукава пальто. Говорит сам с собой точно так же, как когда-то ее Фрэнки. Он повернулся и пошел к выходу мимо скамьи, на которой она сидела.

— Погода сегодня вечером промозглая, — сказала она громко, подчиняясь внезапно вспыхнувшему желанию ненадолго удержать этот живой призрак, повернуть воспоминание с острыми краями в своем израненном сердце.

Неожиданно выведенный из глубокой задумчивости Себастьян остановился, повернулся и несколько секунд непонимающе смотрел на нее. Затем до него дошел смысл этой по-матерински сочувственной улыбки. Взгляд его стал жестким. Такое с ним случилось и прежде. Женщина воспринимала его как одного из сладеньких детишек в колясках, которых

* Перевод М. Кузмина. — *Здесь и далее примеч. пер.*

всем им непременно хотелось погладить по головке. Надо бы проучить старую стерву! Но ему, как обычно, не хватило смелости и присутствия духа. И потому он лишь чуть заметно улыбнулся и сказал: да, вечер в самом деле выдался ненастным.

Миссис Окэм открыла сумочку и достала небольшую коробку из белого картона.

— Могу я тебя угостить?

Она протянула коробку к нему. Это было французское шоколадное печенье, любимое лакомство Фрэнки, впрочем, и ее тоже. Миссис Окэм питала слабость к сладостям.

Себастьян посмотрел на нее в нерешительности. Правильное произношение, одежда из твида, хотя и несколько бесформенная, хорошо подобрана и качественной выделки. Но сама женщина толстая и старая — лет сорока, не меньше, решил он. И колебался между искушением поставить это навязчивое существо на место и не менее острой тягой к вкуснейшим *langues de chat**. Она похожа на мопса, отметил он про себя, глядя на ее плоское и пухлое лицо. Розового бесшерстного мопса с плохой кожей на мордочке. После чего решил, что может принять «шоколадку», не жертвуя ни малой толикой собственного достоинства.

— Благодарю вас, — сказал Себастьян и одарил ее одной из тех полных очарования улыбок, которые на пожилых леди всегда действовали совершенно безотказно.

Быть семнадцатилетним, чувствовать, что обладаешь умом совершенно зрелого мужчины, а вы-

* Кошачьи язычки (*фр.*).

глядеть подобием ангела делла Роббиа, которому не дашь и тринадцати, — какая абсурдная и унижительная участь! Но в прошлое Рождество он читал Ницше и знал, что должен Любить свою Судьбу. *Amor fati**, но только с долей здорового цинизма. Если люди готовы платить, чтобы поглазеть на того, кто выглядит моложе своих лет, отчего не дать им такую возможность?

— Какая вкуснятина!

Он снова улыбнулся ей, и уголки его губ уже были коричневыми от шоколада. Меч в сердце миссис Окэм с мучительной болью провернулся еще раз.

— Возьми всю коробку, — сказала она. Ее голос дрожал, в глазах блеснули слезы.

— Нет, что вы, я не могу...

— Возьми, — настаивала она. — Возьми же.

И она буквально втиснула коробку ему в руку — руку Фрэнки.

— О, спасибо... — Как раз на это Себастьян и надеялся, даже рассчитывал. У него уже накопился опыт общения со старыми и сентиментальными дурочками.

— У меня тоже когда-то был сынок, — надтреснутым голосом сказала миссис Окэм. — Очень похожий на тебя. Те же волосы и глаза...

Слезы потекли по ее щекам. Она сняла очки и протерла их. Потом высморкалась, встала и поспешила в читальный зал. Себастьян смотрел ей вслед, пока она не скрылась за дверью. Внезапно на него накатило ужасное чувство вины и стыда. Он посмотрел на коробку в своей руке. Какой-то

* Любовь к судьбе (*ит.*).

мальчик должен был умереть, чтобы он сейчас лакочился *langues de chat*: и если бы его собственная мать была жива, она достигла бы примерно тех же лет, что и это несчастное создание в очках. И если бы умер он сам, то она тоже стала бы несчастной и сентиментальной. Под влиянием импульса Себастьян едва не выбросил коробку, но сдержался. Нет, это глупость, какое-то нелепое суеверие. Он сунул коробку в карман и вышел в окутанные туманом сумерки.

«Миллионы и миллионы», — шептал он, и невообразимая масштабность зла, казалось, только возрастала при каждом повторе этой фразы. По всему миру миллионы и миллионы мужчин и женщин испытывали боль, миллионы умирали вот в эту самую секунду, миллионы оплакивали их с искаженными мукой лицами, как у этой старой карги, со слезами, струящимися по щекам. И еще миллионы голодных, миллионы испуганных, нездоровых и не находящихся умиротворения. Миллионы подвергались оскорблениям и побоям со стороны других миллионов — грубых и жестоких. И повсюду вонь отбросов, спиртного и давно не мытых тел; повсеместно все заражено тупостью и обезображено уродством. Ужас не исчезнет, даже если ты сам почувствуешь себя здоровым и счастливым, — ужас всегда рядом. За ближайшим углом или почти за каждой соседней дверью.

И когда Себастьян спускался по Хаверсток-Хилл, он чувствовал, как им полностью овладевает необъятная обезличенная тоска. Казалось, ничего больше не существовало, кроме смерти или нестерпимой боли.

И тут ему вспомнились слова из Китса: «Огромная всемирная агония!» Огромная агония. Он напряг память, чтобы вспомнить другие строки. «Никто не доберется до таких вершин...» Как же там дальше?

Никто не доберется до таких вершин,
вещала эта тень ему,
Но только тот, кого печалит вся Вселенной скорбь,
Кто горем тем проникся до глубин души,
кому покоя нет...*

Как это верно! И наверняка Китс думал об этом холодным весенним вечером, спускаясь с холма в Хэмпстеде, так же, как сейчас сам Себастьян. Шел, останавливался, откашливался и думал о собственной смерти, как и всякий другой. Еле слышным шепотом Себастьян начал повторять строки:

Никто не доберется до таких вершин,
вещала эта тень ему,
Но только тот...

Но, боже мой, как же ужасно звучали эти строчки вслух! Никто не доберется до таких вершин, вещала эта тень ему, но только тот, кого, кому... Разве он сам мог не слышать этих повторов? Впрочем, Китс часто допускал небрежности. И гениальность не уберегала его от порой жутких ляпов и дурного вкуса. В «Эндимионе» попадались места, от которых только и можно было содрогнуться. А если учесть, что все это еще и имело отношение к Греции...

Себастьян улыбнулся с сочувственной иронией. Наступит день, когда он всем покажет, что можно сотворить на основе греческой мифологии. А пока

* Дж. Китс. Падение Гипериона.

он мысленно вернулся к словам, которые пришли на ум в библиотеке, когда он читал книжку Тарна по истории эллинской цивилизации. «Не думай о сушеных фигах!» — так должна была начинаться строчка. Или: «Не думайте о высушенных фигах...» Но ведь чем так плохи сушеные фиги? Рабов, например, сушеными фруктами не кормили. Им доставались только никуда больше не годные отбросы. «Не думайте о сгнивших фигах». Вот как! И определение оказывалось на слог короче, что всегда хорошо.

Не думайте о сгнивших фигах, об унижениях побоев,
О стариках, что умереть бояться...

Нет, это невероятно плоско! Как ровная мостовая, укатанная паровым катком, как худшее из Вордсворта. А если так: «О стариках, которых смерть страшит»?

О стариках, которых смерть страшит,
О женщинах...

Он надолго задумался, как в двух словах передать гнетущую жизнь в гинекее. А потом из таинственного источника света и энергии, скрытого в его сознании, выступило превосходно подходящее сочетание: «О женщинах, что заперты по клеткам».

Себастьян не сдержал улыбки, когда воображение нарисовало ему эту картину — целый зоопарк из диких, не поддающихся приручению девиц, оглушительное карканье и щебет в просторном вольере для старых дев и вдовушек. Эти образы пригодятся для другой поэмы — той, в которой он сведет счеты со всем слабым полом. Но сейчас речь об Элладе — реальном историческом убожестве Греции, ее придуманной славе. Придуманной, конечно, когда речь

шла о народе в целом, но наверняка доступной для отдельной личности, и в первую очередь — для поэта. Однажды, хоть пока и не ясно как и где, Себастьян сумеет до этой славы дотянуться, в чем у него не возникало ни тени сомнения. А сейчас важно не выставить себя дураком. Следовало смирять ностальгическую страсть, добавляя к экспрессии чуть-чуть иронии, сдабривая вожделенный идеал щепоткой острой приправы абсурда. Совершенно забыв об умершем мальчике и о всемирной агонии, он угощался *langues de chat* из лежавшего в кармане запаса и с набитым ртом возобновил опьяняющий труд сочинителя.

Не думайте о сгнивших фигах, об унижениях побоев,
О стариках, которых смерть страшит, о женщинах,
что заперты по клеткам.

Но довольно истории. Теперь в ход пойдет фантазия.

И — круглый год — в июне...

Он помотал головой. «Круглый год» — словно на уроке географии недалекий директор описывает климат какого-нибудь Эквадора. «Хронический» или «застарелый» сами просились на замену. Возникавшие при этом ассоциации с варикозными венами и болтовней домработниц на кокни его порадовали.

В хроническом июне этих мест блаженных
Какие только Алквиады не теребили бороду Платона!

Мерзость! Здесь не место именам собственным. Быть может, «какие только мускулы стальные»? Нет. Не точно. И тут же, как манна небесная, подсказка:

«Надменные тяжеловесы». Да, да — «надменные тяжеловесы наклонялись». Он даже рассмеялся вслух. Стоило заменить Платона на мудрость, и у него получилось:

В хроническом июне этих мест блаженных
Надменные тяжеловесы наклонялись
над мудрости седую бородой.

Себастьян несколько раз со смаком повторил это двестише. Настал черед противоположного пола.

Где-то рядом раздаются и звон струны, и пение флейт.

Он шел, наморщив лоб, недовольный собой. Эти взметнувшиеся фигуры вакханок, эти груди и ягодицы у Праксителя, эти танцовщицы на амфорах — как же дьявольски трудно понять и описать их! Сжать, чтобы выразить суть! Слепить из этих обольстительных образов один чувственный комок, чтобы затем в едином порыве выдавить из него полный бокал словесного сока: пьянящего и возбуждающего, терпкого и сладострастного. Легче сказать, чем исполнить. Но его губы снова шевелились.

— Где-то рядом, — прошептал он.

Где-то рядом раздаются и звон струны,
и пенье флейт.
Там круг за кругом вихрь кружится танца упругих
и пластичных тел,
Отброшены последние покровы с манящих
плотских лун!

Себастьян вздохнул и покачал головой. Еще не совсем то, что нужно, но временно придется удовлетвориться этим. Он не заметил, как дошел до угла.

Отправиться сразу домой или добраться до Бэн-три-плейс, встретить Сьюзен и дать ей послушать новые стихи? Немного подумав, Себастьян избрал второй вариант и повернул направо. Ему захотелось аудитории и аплодисментов.

...упругих и пластичных тел,
Отброшены последние покровы с манящих
плотских лун!

Но, быть может, вся вещь пока что слишком коротка? Да, будет неплохо вставить пару строф между этими пластичными телами и финалом, подобным сверканию пурпурных бенгальских огней. Покуситься даже на Пантеон, почему нет? Или взять что-то из Эсхила. Было бы занятно.

В сравнении с этим меркнут все трагедии,
Фальшивы те возвышенные речи,
что исторгают в муках рты...

Но боже милостивый! Вот же те бенгальские огни, которые неудержимо и даже непрошено сами рвутся в его стихи.

И ежечасно, поражая взгляд, над островами
в море гиацинтов
Открыта взору яростная похоть...

Нет, нет, нет. Слишком расплывчато, слишком бесплотно, абстрактно!

Быки и юноши, изогнутые шеи лебедей
И нежные соски грудей прелестных.
Какая торжествующая похоть,
Зажженная ярчайшим из огней...

Но «ярчайшим» не соответствовало замыслу. Это слово означало только само себя, и ничего более. Ему нужен был эпитет, который показывал не только интенсивность огня, но придавал бы ему святости, страстно хранимой веры даже в сексуальном экстазе, оставаясь поэтичным (и религиозным — каждому свое!) и возвышая действие над обыденным людским существованием.

Он вернулся к началу, в надежде с разбега по инерции преодолеть возникшее препятствие.

И ежечасно, поражая взгляд, над островами
в море гиацинтов
Быки и юноши, изогнутые шеи лебедей
И нежные соски груди прелестных.
Какая торжествующая похоть,
Зажженная... Зажженная...

Себастьян помедлил, и слово пришло.

Зажженная чистейшим из огней, от жара
Истинного Света,
Когда в своей невинности святой сплетаются
в совокупление Боги!

Но вот он уже свернул на Бэнтри-плейс, и, хотя окна пятого дома были закрыты и плотно занавешены, он мог слышать, как Сьюзен на уроке музыки играет мелодию Скарлатти, над которой билась всю зиму. Ему пришло в голову, что такая музыка, наверное, зазвучала, если бы пузырьки шампанского могли в строгом ритме всплывать к поверхности и лопаться с сухим и пикантным звуком, каким было само вино, из глубин которого они поднимались. Сравнение так понравилось Себастьяну, что он напрочь забыл, что еще никогда в жизни не про-

бывал шампанского. Нажимая на кнопку звонка, он завершил мысль, вообразив музыку даже более сухой и пикантной, как если бы ее исполняли на клавишине, а не на приторном «Блютнере» старого Пфайффера.

Сюзен заметила его поверх рояля, стоило ему войти в музыкальный класс — эти красиво очерченные, чуть приоткрытые губы и мягкие волосы, в которые ей всегда хотелось запустить пальцы (чего он не позволял), сейчас растрепанные ветром, беспорядочные, но такие привлекательные бледные завитки. Как мило, что он отклонился от своего маршрута и зашел за ней! Она чуть заметно, но радостно улыбнулась ему и при этом заметила в его волосах небольшие капельки воды, подобные восхитительной росе на капустных листьях — только у него они были еще меньше и лежали словно на шелковой подкладке. Если прикоснуться, они наверняка окажутся холодными как лед. Стоило ей подумать об этом, как левая рука стала попадать не по тем клавишам.

Престарелый профессор Пфайффер, который ходил из угла в угол зверем в клетке — небольшой, но раскормленный медведь в мятых брюках и с усами моржа, — вынул из угла рта сильно зажеванный окурок сигары и воскликнул по-немецки:

— Musik, musik!

Сделав над собой усилие, Сюзен выбросила из головы росу в шелковистых кудрях, подхватила сонату заново с того места, где сбилась, и продолжила играть. К своей немалой досаде, она почувствовала, что покраснела.

Алые щеки и волосы, рыжеватые почти до красноты. Свекла и морковь, безжалостно отметил Се-

бастьян; не нравилось ему и как становились видны ее десны, если Сьюзен расплывалась в улыбке, — впечатление чересчур «анатомическое».

Взяв заключительный аккорд, Сьюзен опустила руки на колени в ожидании вердикта учителя. Он последовал громоподобно сквозь облако сигарного дыма.

— Хорош, хорош, хорош, — и профессор Пфайффер хлопнул ее по плечу, словно погонял запряженную в коляску пони. Потом он повернулся к Себастьяну: — Унд здес у нас маленький Ариэль! Oder, наверное, дер маленький Пак* — нет?

И он подмигнул шелкой между своими тяжелыми ресницами, что, как ему представлялось, и выглядело забавно, и содержало толику свойственной людям культуры тонкой иронии.

Маленький Ариэль, маленький Пак... Дважды за день, и на этот раз без малейшей причины — только потому, что старый пузан считал себя остроумцем.

— Не будучи немцем, — язвительно отозвался Себастьян, — я, разумеется, не читал Шекспира и ничем не могу вам помочь.

— Дер Пак, дер Пак! — прогрохотал профессор Пфайффер и рассмеялся так бурно, что вызвал приступ своего извечного бронхита и закашлялся.

На лице Сьюзен отразилась неподдельная тревога. Это могло привести к бог весть каким последствиям. Она соскочила с винтового стульчика у рояля и, как только взрывы жутко бурлящего мокротой кашля профессора Пфайффера пошли на убыль, объявила, что им надо немедленно уходить.

* Персонажи произведений У. Шекспира «Буря» и «Сон в летнюю ночь».

Ее мама просила сегодня непременно быть дома пораньше.

Профессор Пфайффер утер с глаз слезы, снова зажал в зубах то, что оставалось еще от сигары, пару раз похлопал Сюзен по плечу все тем же жестом погонщика и попросил ни в коем случае не забыть, что он сказал ей по поводу трелей для пальцев правой руки. Затем, взяв со стола отделанную вставками из кедра серебряную шкатулку для сигар, которую благодарные ученики подарили ему на последний день рождения, он повернулся к Себастьяну, положил свою квадратную лапищу на плечо мальчику, а другой сунул ему сигары прямо под нос.

— Возьми одна, — сказал он вкрадчиво. — Возьми одна отличны «гавана». Мягкая, und garantiert*, от нее не тошнить даже молодой поросенок.

— О, замолчите! — выкрикнул Себастьян в ярости, уже граничившей со слезами, а потом выскользнул из-под руки своего мучителя и выбежал из комнаты. Сюзен чуть задержалась в нерешительности и тоже, не вымолвив больше ни слова, поспешила вон из класса. Профессор Пфайффер снова вынул изо рта огрызок сигары и бросил ей вслед:

— Быстро! Быстро! Наш маленький гениус сейчас плакать.

Дверь захлопнулась. Пренебрегая своим бронхитом, профессор Пфайффер снова разразился громким смехом. Два месяца назад «маленький гениус» взял одну из сигар и, пока Сюзен старательно наигрывала «Лунную сонату», попыхивал минут пять. А затем последовал отчаянный рывок в сто-

* Гарантирую (нем.).